Александр Агаджанян

Религия и Русская Революция: явные и неявные взаимосвязи. На полях одной конференции

DOI: http://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-1-336-347

Alexander Agadjanian

Religion and Russian Revolution: Explicit and Implicit Relationships. A Conference Review

Alexander Agadjanian — Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA); Center for the Study of Religion, Russian State University of the Humanities (Moscow, Russia). grandrecit@gmail.com

The conference "Religion and Russian Revolution" was held at the Russian Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) on October 26–28, 2017. The conference included 52 papers by scholars from 11 nations and many Russian cities. The best papers will be published in this journal, in the Russian language, and in an English-language volume by one of the Western publishers. The main idea of the conference was to explore not only the impact of 1917 Revolution upon the religious institutions; not only the intellectual and cultural reactions to Revolution; but also the revolutionary attempts of replacing the old religions with such new patterns of this-worldly, utopian sacrality, which sublimated the new order and legitimized revolutionary violence. The conference site: http://conferences.msses.ru/religion

Keywords: religion, Russian Revolution of 1917, RANEPA.

Агаджанян А. Религия и русская революция: явные и неявные взаимосвязи. На полях одной конференции // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 336–347.
Agadjanian, Alex (2018) "Religion and Russian Revolution: Explicit and Implicit Relationships. A Conference Review", *Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom* 36(1): 336–347.

В ГОД столетия Русской Революции количество посвященных ей публичных и медиа-событий было огромным, и их анализ был бы сам по себе интересным исследованием механизмов исторической памяти. Отчасти это касается и чисто академических событий, тоже весьма многочисленных. Революция как исследовательский объект релевантна для многих дисциплин — от экономистов до филологов, от историков до визуальных антропологов и фольклористов. В конференции, прошедшей в РАНХиГС 26–28 октября 2017 г. и организованной совместно с Московской высшей школой социальных и экономических наук, мы решили сделать центральной «религиозную» проблематику, которая на других конференциях и круглых столах всплывала часто, но только в качестве отдельных секций или индивидуальных докладов[1].

Но почему я ставлю слово «религиозная» в кавычки? Дело в том, что это понятие сложное, и следует его «распаковать» — тем более что в период подготовки конференции оно нами сознательно было «запаковано» как многоуровневое и многозначное.

Первый и очевидный уровень — взаимосвязь конкретных религиозных институтов и конкретных политических событий; все перипетии кризиса «старого режима» и вместе с ним — государственно-конфессиональной системы империи Романовых; крах воображаемого «союза алтаря и трона»; бурные события внутри Российской Церкви — новый Синод, Поместный Собор, «церковная революция» на местах, обновленчество; бурные перемены и внутри прочих религиозных общин; отдельные проекты религиозных активистов; медленное нарастание, а затем сокрушительное извержение советского антирелигиозного террора.

Второй уровень или второе измерение «религиозной» проблематики» Революции — глубина и беспрецедентная сила этого исторического потрясения как такового. Революция изменила не только политический строй, не только социальные иерархии, но и всю систему культурных кодов, моральных норм, язык, образность,

1. Исключения: двухдневная конференция в Библиотеке иностранной литературы в ноябре 2017 г. (в рамках ежегодных Зерновских чтений) «Революции и реформы в истории мировых религий», сополагающая две даты — столетие Революции и 500-летие Протестантской Реформы [http://libfl.ru/ru/event/revolyucii-i-reformy-v-istorii-mirovyh-religiy, доступ от 19.02.2018]; конференция «Религия и власть в России: 1905–1917» в Государственном музее истории религий (Санкт-Петербург) [http://rushistory.org/otdeleniya/sankt-peterburg/konferentsiya-religiya-i-vlast-v-rossii-1905-1917.html, доступ от 19.02.2018]; круглый стол «Русская Революция и религия: разрывы и связи» в Институте философии РАН [https://iphras.ru/page21654105.htm, доступ от 19.02.2018].

структуру времени, отношение к «душе и телу». Революция перевернула космологию, доминирующую мифологическую систему. Революция была антропологическим потрясением, взорвавшим представления о человеческой природе и в течение многолетней перманентной *Grenzsituation* (несомненно, с начала Великой войны 1914–1918 гг.) бросавшим человека на грань «голой жизни» и «голой смерти»[2]. Революция придала ходу истории невероятное эсхатологическое напряжение. Революция была выбросом энергии — разрушительной и созидательной. Революция была в огромной мере стихийным явлением, выходящим за пределы рационального, сознательного контроля. В силу всего этого Революция имела самое прямое отношение к тому, что в нынешнем и — шире — модерном языковом обиходе относится «по религиозному ведомству»; она ощущалась как явление *транс*цендентное, как транс, как конец и начало — и это ощущение, хотя и в разных формах, определяло и элитарное, и массовое сознание.

Наконец, в продолжение предыдущего, в некотором более узком и специальном смысле, Революция как «проект» сама была новой религией. Это стало очевидно начиная с февральского ее этапа, и еще более — с октябрьского, и сопутствующая жестокая прагматика власти не противоречит этому обстоятельству. Марксистский социализм в его большевистской версии далеко не исчерпывал всего содержания этого проекта, хотя в конце концов утвердил свою монополию на него. Это был проект со своим определенным набором эсхатологических смыслов, своей мифологией, агиографией, иконографией, священными текстами и системой культовых практик.

Именно эти разные измерения «религиозного» были изначально в замысле конференции. Она постепенно разворачивалась в этой логике.

Первая и основная волна докладов в классической историографической оптике исследовала судьбы религиозных институтов, в первую очередь, Православной Российской церкви. Грегори Фриз назвал свой пленарный доклад «„Воцерковление“ российской истории»: идея его состояла в том, что историография Великой войны и Революции (как общее направление) пока еще игнорирует историографию Русской церкви, отчасти — из-за отставания этой историографии; история Церкви как бы *параллельна*

2. Вопрос о хронологических рамках Революции мы здесь не обсуждаем; это отдельная сложная проблема интерпретации.

социальной и политической истории России, тогда как в идеале должна, наконец, стать полноценной *частью* российской истории этого периода (как, впрочем, и других периодов, где этот разрыв тоже присутствует). Фриз сравнил эту ситуацию с исследованиями истории европейских стран того же времени (особенно периода Великой войны), где в последние десятилетия намного вырос уровень интеграции знания о роли церквей в истории в целом.

Доклады Ольги Васильевой, Скотта Кенворти, Михаила Бабкина и Сергея Фирсова были посвящены тому, как высшая церковная иерархия реагировала на Революцию, начиная с Февраля и отречения императора, и почему эта реакция была сдержанно-позитивной, вопреки стереотипному образу Церкви как оплота старого режима. Версии ответа на последний вопрос: (а) иерархи давно стремились к доминированию Церкви в рамках векового противостояния «священства и царства»; (б) иерархи были в целом монархистами, но выжидали, подчиняясь новой власти, надеясь найти более полновесный ответ на Поместном Соборе; (в) иерархи были в замешательстве и, выжидая, пассивно искали новый *modus vivendi*. Патриарх Тихон (Беллавин), избранный на Поместном Соборе 21 ноября 1917 г., пытался быть миротворцем, стараясь оставаться над братоубийственной схваткой, но все же несколько раз он более или менее прямо осудил большевистский режим (по крайней мере, в трех случаях в 1918 г. — январской «анафеме», в оценке Брестского мира и в октябрьском обращении к Совету народных комиссаров).

Институциональной истории Российской церкви были посвящены еще несколько докладов. Поместный Собор, огромное событие, определившее всю последующую историю русского православия вплоть до нынешних времен и заслуживающее отдельного и глубокого изучения, «всплывал» в разных контекстах постоянно[3]. Поскольку Собор был первым за несколько столетий и призван был *нормативно* реагировать на новую — и к тому же бешено меняющуюся на глазах — реальность, вопросы церковных канонов были, судя по докладам, центральными. Именно разным аспектам канонического творчества Собора были посвящены доклады Тать-

3. 13 ноября 2017 г. в Свято-Тихоновском православном гуманитарном университете была проведена специальная конференция, посвященная столетию Собора [http://pstgu.ru/news/university/2017/11/14/73563/, доступ от 19.02.2018]. Александр Мраморнов возглавляет продолжающийся проект по полному изданию документов Собора (к концу 2017 г. вышло 12 из планируемых 36 томов) [http://sobor1917.ru/, доступ от 19.02.2018].

яны Чумаковой и Франчески Силано. В то же время Собор, заседавший в Москве в течение более чем года, был отражением бурных процессов в Церкви и вокруг Церкви повсюду на пространстве раздираемой на части империи: Александр Мраморнов и Дэниэл Скарборо говорили о спорах о канонах в епархиях, а Джордж Косар поставил вопрос о легитимности (каноничности) самого Собора как такового, в свете восстания «церковных низов» — дьяконов и псаломщиков. Собор, следовательно, нужно рассматривать в общем контексте того, что называется «церковной революцией»[4].

«Церковная революция» была частью революции социальной, и только что упомянутые доклады опускают нас с уровня церковной иерархии в гущу бурлящей жизни. Тема церковных перемен продолжается в докладах Алексея Беглова о «приходском вопросе», оказавшемся в центре дискуссий еще в Первую революцию, а в 1917 г. — фактически в центре церковной жизни (это явление Г. Фриз в одной из статей обозначил лозунгом «Вся власть приходам!»[5]). Обновление Церкви — как и обновление страны в целом — было главной повесткой дня, и потому деятельность движения «ревнителей церковного обновления» (бывшей «Группы 32-х» с начала 1900-х гг.), о которой говорила Юлия Балакшина, стала символической и парадигмальной, отражая острейшую тему соотношения «демократии» (с опорой на принцип выборности) и «соборности»[6]. «Обновление» превратилось в «обновленчество», по мнению Александра Мазырина, когда в процесс напрямую вмешались советские спецслужбы с целью раскола Церкви.

Далее конференция постепенно перетекает от проблем Российской церкви, в ее различных институциональных ипостасях, к отдельным конкретным формам религиозности. Надежда Киценко исследует, как меняется, на фоне Революции, православное таинство исповеди; Владимир Аксенов рассматривает на базе визуальных источников длинной военно-революционной эпохи динамику образа духовенства (все более негативного). Специаль-

4. Подробно об этом, в том числе о событиях на епархиальном уровне, см. *Рогозный П.* Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). Санкт-Петербург: Лики России, 2008.

5. *Фриз Г.* «Вся власть приходам»: возрождение православия в 1920-е гг. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 3-4. С. 86–105.

6. Об истоках группы см.: *Балакшина Ю.* Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903–1907. Документальная история и культурный контекст. Москва: Свято-Филаретовский православный христианский институт, 2014.

ная сессия посвящена гендерным вопросам: Надежда Белякова и Пейдж Херлингер обобщают православные дискуссии о «женских темах» и типах женского религиозного активизма накануне и во время Революции. Павел Рогозный посвящает свой доклад десакрализации развода после «Декрета ВЦИК и СНК о расторжении брака» от 16.12.1917 — одного из наиболее радикальных деяний раннего большевистского режима, подорвавшего основы вековой имперско-конфессиональной системы регистрации населения и взорвавшего социальные отношения в целом.

Эмансипация брака становится своего рода символом социальной аномии. В более обобщенном виде и в более длительной перспективе о разложении «традиционного общества», когда-то скрепленного церковно-народным обычаем, говорила в своем докладе Елена Белякова, опираясь на богатые материалы «Этнографического бюро» князя Вячеслава Николаевича Тенишева (1897–1900). Белякова, вслед за этнографами тенишевского Бюро, сформулировала тенденции распада, приведшие к революционной тряске.

Несколько докладов рассматривали отдельные кейсы сцепления революционной энергии и религиозного активизма. Андрей Михайлов проанализировал эволюцию радикальной идеологии архимандрита Михаила (Семенова) (1873–1916), увлекавшегося социализмом, перешедшего в старообрядчество и проповедовавшего «голгофское христианство». Александра Меджибродски посвятила доклад протоиерею Иоанну Восторгову (1864–1918), также размышлявшему о (не)сопоставимости социализма и христианства. Юджин Клэй говорил о том, что он назвал «космополитикой харизматического православия», на примерах священника и проповедника Иоанна Кронштадтского (1829–1909); лидера «имяславцев» Антония Булатовича (1870–1919); и основателя радикальной секты, старца Стефана Подгорного (1832–1914).

А что же другие конфессии и религии? Несколько докладов, им посвященных, рассказали историю отчасти особенную, но фундаментально сходную с судьбой господствующей Церкви. Конфессиональная империя была асимметричной, и падение государственной религии означало обретение меньшинствами большей свободы, что было частью общего импульса эмансипации. Мария Сердюк показала, на примере Дальнего Востока, мгновенное складывание ранее немыслимого религиозного плюрализма. Но эта свобода с самого начала выглядела сомнительной, чреватой, и нарастающее антирелигиозное давление очень скоро обрушилось на всех и придало угрожающий смысл новому равенству.

Но надо признать, что брожение революционных лет было впечатляющим. Четыре исламских кейса — два приволжских (доклады Диляры Брилевой и Диляры Усмановой) и два дагестанских (доклады Ольги Халидовой и Иманутдина Сулаева) описывают энергичные поиски реформ, противоречивые попытки самоорганизации и встраивания в еще текучую новую реальность; от попыток сконструировать «новый образ мусульманина» и до формирования вооруженных отрядов по обе стороны фронтов Гражданской войны.

Другие участники рассказывали истории не менее сложных реакций со стороны старообрядцев (Ирина Пярт), баптистов (Наталья Потапова), меннонитов (Эйлин Фризен), католиков (Евгения Токарева), буддистов (Николай Цыремпилов), секты «Новый Израиль» (Сергей Петров), иудействующих-субботников (Людмила Жукова) и толстовцев (Ирина Гордеева). Этот импульс, активизация многообразной религиозности, сохранялся в 1920-е гг., что было зафиксировано в интенсивных и оставивших массу интересного материала этнографических исследованиях этого периода (доклад Марианны Шахнович).

Волна насилия и подавления, которая обрушилась, в конце концов, на все религии, нарастала постепенно. Сергей Леонов изучил статистику антицерковного террора в течение 1917 года — несколько десятков человек, а далее — резкий рост начиная со следующего года. Это насилие, после прихода большевиков, сопровождалось мощным идеологическим наступлением, «духовной колонизацией», как об этом говорила Вера Шевцова, опираясь на материалы ранней визуальной антирелигиозной пропаганды: цели этой последней состояли в том, чтобы полностью десакрализовать, стереть из памяти, заглушить ключевые образы, таинства и привычки, которыми была скреплена старая религиозность.

Революционная эпоха не могла не обострить эсхатологические образы и чувства. Сознание того, что страна вступает в роковые времена, росло с начала XX века. Это сознание было наиболее артикулировано в высокой (элитарной) культуре Серебряного века, о которой говорил в пленарном докладе Александр Доброхотов. Интеллектуальная традиция была в целом не-церковной, но религиозно насыщенной. Доброхотов условно поделил интеллигенцию на «кадетов» (они же философы и профессора) и «поэтов» (в основном связанных с символизмом).

Революция у многих поначалу вызвала эйфорию и энтузиазм — особенно у тех, кто, в духе Владимира Соловьева, ожидал

духовного преображения и участия в «теургии». Некоторые даже пытались открыться социализму. Регула Цвален, например, говорила в своем докладе о попытках соединить социализм с христианским откровением у Сергея Булгакова — попытках неудачных, как следует из его деятельности в ходе Гражданской войны и из самого факта принятия сана в 1918 г. Некоторые из философов и поэтов напрямую сотрудничали с новыми властями (как Мережковский после Февраля). Но энтузиазм быстро рассеивается в течение рокового года. И хотя некоторые, подобно А. Блоку, в типично символистском мистическом самозабвении, продолжали слышать в революции «музыку» даже после октябрьского переворота, большинство интеллектуалов либо замолкают, либо разочарованы и подавлены (см. известный сборник «Из глубины», 1918).

Доминирующему в начале XX века эсхатологическому фону русской культуры были посвящены несколько докладов. Виктор Шнирельман говорил о сверхпопулярной теме Антихриста, восходящей отчасти к тому же Владимиру Соловьеву, но получившей разные интерпретации на протяжении всей предреволюционной эпохи; он акцентировал ее связь с антисемитскими настроениями, нараставшими в церковной и нецерковной среде, в особенности после публикации «Протоколов сионских мудрецов» в 1903 г. Екатерина Заранян исследовала образы «исчезающей страны» — старой России — в эго-документах Белого движения. Зоя Дашевская говорила об одной из реакций на нарастающую смуту — «молитвах о России», создававшихся, по крайней мере, со времен Первой революции и далеко вглубь советского времени, сутью которых была идея всеобщего национального покаяния и примирения.

Что же приходило на смену старой России за горизонтом «конца времен»? Что приходило на смену старого религиозного языка и габитуса? Русская Революция предлагала нечто, призванное тотально их заменить. Несколько докладов были посвящены этой последней логической главе нашей темы. Означала ли революция полный разрыв? Марк Стейнберг в своем докладе и только что вышедшей книге[7] показал, на основе свидетельств эмоционального *проживания* (*experiencing*) Революции ее участниками, что

7. *Стейнберг М.* Великая русская революция, 1905–1921 / пер. с англ. Н. Эдельмана; под науч. ред. М. Гершзона. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018 (первое издание: Steinberg, M. (2017) *The Russian Revolution. 1905-1921.* Oxford University Press).

это была эпоха разрушения и созидания одновременно; аномия, развал сопровождались невероятным раскрепощением, и Революция была, как писал Вальтер Беньямин, цитируемый Стейнбергом, «прыжком под открытым небом истории». Стейнберг показал несколько ярких примеров «прыжков и полетов» в визуальной и словесной культуре эпохи. Все это было осмыслено, по известным словам Энгельса, как «прыжок из царства необходимости в царство свободы».

Но совершенно очевидно, что полного разрыва не было, как и не было прыжка в полную неизвестность. С одной стороны, открытость будущего сворачивалась холодным расчетом и прагматикой насилия. С другой стороны, старый бердяевский тезис о религиозных корнях «русского коммунизма» по-прежнему кажется соблазнительно эвристичным. Скажем осторожнее: *некоторые* культурно-идеологические формы, социальные навыки и политические паттерны не могли не воспроизводиться революционным режимом, несмотря на риторику абсолютного обновления.

Это касается и некоторых собственно религиозных форм. Об этом говорила в своем докладе Тамара Прозич, обращая внимание на некоторые черты восточного христианства, превращенные в черты постреволюционного строя. Например, общий эсхатологический пафос — пафос конца и начала, обновления, нового рождения — приводился в движения механизмами, сходными с религиозными. Или идея «подвига», превращенная в политический радикализм.

Социализм как «высшая форма религии» — с типичными аналогиями «народного» новозаветного мессиджа и светского освободительного пафоса — прославлялся «богостроителями» — А. Луначарским, М. Горьким и другими (доклад Даниэлы Стейлы). В. Ленин, впрочем, был яростно неприязнен к подобному синтезу. Но Ленин и большевики, по мнению Юрия Слезкина, сами сформировали не что иное, как типичную милленаристскую секту, подобную милленаризму иудейскому, христианскому, подобную тайпинам, анабаптистам, растафари и множеству других... Те же признаки: личное обращение, безличная сплоченность, культ жертвы, ненависть к падшему в грехах «Вавилону», всемирное мессианство и ожидание новой земли и нового неба *hic et nunc* при жизни этого поколения. Марксизм, по мнению Слезкина, вернул христианский мир из схоластической трансцендентной эсхатологии к реальному апокалиптизму. Да-

лее Слезкин, опираясь на материалы личных архивов старых большевиков из «Дома на набережной»[8], показывает процесс рутинизации большевистской «секты» и всей созданной ими «иерократии»: эсхатологические пророчества переосмыслены, великое будущее отложено, «царство свободы» жестко отгорожено от остального мира, и создана система культа, параллельная новой и вполне обмирщенной бюрократии — так, как это было в победивших мировых религиях.

Глубокий разлад между первым радикальным импульсом и последующей рутиной ощущался, например, в том, как порожденный революцией коммунистический проект изобретал свою собственную систему обрядовых практик взамен уничтожаемой старой религиозности. Анна Соколова говорила в своем докладе о том, как в разгар ранней утопии, совпавшей с резким ростом присутствия смерти (в результате хаоса, голода и всеобщего насилия), советские чиновники пытались решить проблему захоронения и поминовения умерших в обход презираемой ими церковной обрядности. «Новому человеку» была обещана и новая жизнь, и новая смерть.

Советская власть не вполне справилась с этой задачей. Советской власти не удалось найти окончательного решения вопроса религии в целом. И хотя ожидания Поместного Собора православной Церкви или воспрянувших было поначалу религиозных меньшинств никак не оправдались, и на время «отложенный» удар по религии в конце 1920-х гг. был сокрушителен, Революция не совершила и не могла совершить полной замены. Не только смерть, но и жизнь ставили такие вопросы, которые нельзя было решать ни в рамках коммунистического оптимизма, ни с помощью жестокой, тотальной биополитики. Однако это — уже другая история, выходящая за рамки этой конференции.

Как оценить конференцию в целом? Прежде всего, трезво. Она могла высветить только часть проблематики, которая имеет отношение к теме. За ее пределами, по разным причинам, остались многие вещи, о которых важно помнить и которые важно изучать. Например, география сюжетов была ограничена: в ней, увы, не нашлось места Украине, Польше, Балтии, Средней Азии, Закавказью и некоторым другим имперским периферия. Среди религий, о которых шла речь, к сожалению, не было иуда-

8. См. Slezkine, Yu. (2017) *The House of Government. A Saga of the Russian Revolution*. Princeton University Press.

изма. Совершенно не представлена была оккультно-эзотерическая среда, бурно расцветшая в российской культуре *fin de siècle* и революционной эпохи. Также не было докладов, ставящих Русскую Революцию в синхронный всемирный контекст, имея в виду и великие восточные революции в сопредельных землях (Персия, Османская империя, Китай), и всевозможные западные влияния (левые, правые, атеистические, религиозные, эзотерические). По-видимому, была бы очень уместна и попытка диахронной компаративистики — сравнения Русской Революции с другими революциями Нового Времени и выявление типичных паттернов взаимосвязи революции и религии[9].

Но конференция была, несомненно, насыщенной; в кратком отчете невозможно коснуться деталей и нюансов, по поводу которых возникали споры. Если попытаться обобщить, то мы хотели увидеть связь Революции и религии в том ее многообразии, которое предстает в результате и взрывного увеличения объема доступных источников, и совершенствования методов, и происшедшей за столетие смены теоретических парадигм.

Кроме того, Революция сама по себе — даже независимо от ее собственно религиозных аспектов — является «сакральным объектом» и остается таковым, быть может, в еще большей степени по прошествии ста лет. Она есть «сакральный объект» даже в категориях политической философии, как говорил Эверт ван дер Звеерде в последнем докладе, — потому что она является концентрированным выражением исторической неопределенности, подвижной суммой закономерностей и случайностей, смешением рационального и иррационального — т. е. в некотором смысле, позволю себе повторить, содержит в себе некое качество трансцендентности. Она «сакральна» еще и в том смысле, что любое прикосновение к ней до сих пор, даже в пространстве академии, все еще «рискованно», «токсично» и чревато пристрастиями. Лучшие специалисты, которых собрала конференция, были не лишены пристрастий, но вооружены методом, который позволил сделать событие осмысленным и глубоким.

9. Содержательная попытка сравнения была сделана в книге: Schönpflug, D., Schulze Wessel, M. (eds) (2012) *Redefining the Sacred. Religion in the French and Russian Revolutions*. Peter Lang. Относительно обобщения, см. интересные мысли в статье: *Рашковский Е.Б.* Революции и религии: опыт сравнительной морфологии // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Том 61. № 7. С. 112–119.

Библиография / References

Балакшина Ю. Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903–1907. Документальная история и культурный контекст. Москва: Свято-Филаретовский православный христианский институт, 2014.

Рашковский Е.Б. Революции и религии: опыт сравнительной морфологии // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Том 61. № 7. С. 112–119.

Рогозный П. Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). Санкт-Петербург: Лики России, 2008.

Стейнберг М. Великая русская революция, 1905–1921 / пер. с англ. Н. Эдельмана; под науч. ред. М. Гершзона. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018.

Фриз. Г. «Вся власть приходам»: возрождение православия в 1920-е гг. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 3-4. С. 86–105.

Balakshina, Iu. (2014) Bratstvo revnitelei tserkovnogo obnovleniia (gruppa “32-kh” peterburgskikh sviashchennikov), 1903–1907. Dokumental’naia istoriia i kul’turnyi kontekst [Brotherhood of the zealots of Church renewal (a group of “32” St. Petersburg priests), 1903–1907. Documentary history and cultural context]. M.: Sviato-Filaretovskii pravoslavnyi khristianskii institut.

Rashkovskii, E.B. (2017) “Revoliutsii i religii: opyt sravnitel’noi morfologii” [Revolution and religion: An attempt at comparative morphology], *Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia* 61(7): 112–19.

Rogoznyi, P. (2008) *Tserkovnaia revoliutsiia 1917 goda (Vysshee dukhovenstvo Rossiiskoi Tserkvi v bor’be za vlast’ v eparkhiiakh posle Fevral’skoi revoliutsii)* [The 1917 Church revolution (the senior clergy of the Russian Church in the struggle for power in the dioceses after the February revolution)]. SPb.: Liki Rossii.

Steinberg, M. (2018) *Velikaia russkaia revoliutsiia, 1905–1921* [The great Russian revolution]. M.: Izd-vo Instituta Gaidara.

Freeze, G. (2012) “‘Vsia vlast’ prikhodam’: vozrozhdenie pravoslaviia v 1920-e gg.” [“All Power to the Parish!” An Orthodox Revival in the 1920s”], *Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom* 3–4: 86–105.

Schönpflug, D., and M. Schulze Wessel (eds.) (2012) *Redefining the Sacred: Religion in the French and Russian Revolutions*. Bern: Peter Lang.

Slezkine, Yu. (2017) *The House of Government: A Saga of the Russian Revolution*. Princeton: Princeton University Press.

Steinberg, M. (2017) *The Russian Revolution, 1905–1921*. Oxford University Press.